

A black and white close-up portrait of a woman with dark, wavy hair, looking directly at the camera with a neutral expression. She is wearing large, ornate, teardrop-shaped earrings with a textured, possibly beaded or sequined surface. The background is dark and out of focus.

18+

Наталья Червяковская

**Роковая страсть
в руках музыканта...
моя бездонная
катастрофа**

Современная проза и поэзия

Наталья Червяковская
Роковая страсть в руках
музыканта... моя
бездонная катастрофа.
Современная проза и поэзия

*<https://litres.ru/73871893>
ISBN 9785006979758*

Аннотация

Книга «Роковая страсть в руках музыканта... моя бездонная катастрофа» рассказывает о судьбе женщины Натальи, о её супруге — гениальном музыканте Сергее, рано ушедшем из этого бренного мира. Это история её новой семьи: мужа Амира и их детей, Георгия и Лилии. На этих страницах переплетаются не только сокровенные душевные терзания героини, но и две культуры — славянская и осетинская. Быть человеком — трудная задача в нашем мире, а обнажить свою душу перед другими — тяжкий и поистине отважный подвиг.

Содержание

Катастрофа	5
Два года	31
Конец ознакомительного фрагмента.	39

**Роковая страсть в
руках музыканта... моя
бездонная катастрофа
Современная
проза и поэзия**

Наталья Червяковская

© Наталья Червяковская, 2026

ISBN 978-5-0069-7975-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Катастрофа

*Пусть финиш обманет, пусть рухнет весь мир в
никуда —*

Я ставлю на губы, в которых сияет беда.

Апрель остыл. В душе сирень мертва.
Она бежит от драм и липкой тени.
Ей не нужны солёные слова
И горький привкус чьих-то подношений.
Её любовь — без правил и границ,
Ваш мир в её руках — лишь хрупкий пепел.
Среди пустых, исписанных страниц
Она диктует рок, что дик и светел.

Ей чужд покой и омут роковой,
Она стихами лечит злые раны,
Скрываясь за полночной синевою,
Где пьёт рассвет, кофейный и туманный.
Ей не до чувств, ей нужен блеск монет,
Свобода слов и ритмов канонада.
В её глазах земной пристрастности уж нет,
Лишь музыка — единственная правда.

На скатерти — изорванный атлас,
Картинки Смерти — в картах для расклада.
Её душа, не видевшая вас,
Ни жертв не хочет, ни любви в награду.
Зачем стучать в затвор её дверей,
Когда она сама — живая бездна?
В безумстве струн и ярости ключей
Ваша мольба бессильна и бесполезна.

То катастрофа: жаждали тепла,
Но натолкнулись на металл аккорда.
Она сквозь чувства пеплом проросла,
Глядя на мир насмешливо и гордо.
Ей музыка превыше всех молитв,
Ей рок — судья, а ваша страсть — обуза.
И в этой битве вы уже убиты
Последней рифмой беспощадной музыки.

Что нравилось ей в мужчинах? Руки. Только руки. Интересно, почему? В них — целая жизнь. Это не просто часть тела. Это карта, где линии судьбы пересекаются со шрамами опыта, где сила прячется в изяществе, а вся история написана на безмолвной коже.

Ей нравились красивые мужские руки. Не мягкие, но умелые. Длинные пальцы, способные быть небрежно расслабленными — и вдруг собранными, точными, словно стрелы

перед выстрелом. Такие пальцы не украшали образ; они его завершали. Но порой их всё же украшали — тонким браслетом из холодного серебра, строгим и безмолвным, или перстнем с тёмным камнем, в глубине которого, казалось, навсегда поселилась тень. Это была не роскошь. Это был знак. Символ. В этом сквозила мистическая, унылая грань: эти вещи были подобны ключам, запирающим часть души, или напоминанием о цепи, которую человек избрал добровольно.

И тогда ненавистная её душе сирень, тот приторный, удушшающий запах, смешивался в памяти с горьковатой гущей кофе. Рука, держащая фарфоровую чашку; пальцы, касающиеся её тонкого края. Рука, раскладывающая карты Таро на столе движением уверенным, почти ритуальным. Пальцы, замершие на Аркане — на «Отшельнике» или на «Луне». В этом жесте таились тайна и отстранённость, как в сирени, что цветёт пышно и обманчиво, и как в кофе, что бодрит, но оставляет после себя терпкую пустоту.

Руки говорили о том, что человек умеет держать — и что готов отпустить. О том, что он создавал и что разрушал. Широкие ладони могли казаться надёжными, но кисти, сужающиеся к тонким запястьям, выдавали нерв, сокрытую хрупкость. Она читала в них повесть без слов. И выбор руки был выбором истории, которую она жаждала услышать, — или, быть может, той, которую боялась узнать.

Она любила руки своего супруга-пианиста, эти руки, играющие на губной гармонике — это была её тайная слабость, сокровенная и непередаваемая. Представь теперь диалог, произносимый под «Por una Cabeza», под то самое танго, где страсть к скачкам и страсть к женщине сплетаются в одно неуловимое, горькое и прекрасное целое.

— Ты слушаешь? — его голос был тише музыки.

— Я всегда слушаю, — она смотрела не на него, а на его руки, лежавшие на инструменте. На губную гармошку, прижатую к ладони, как сокровенная тайна.

Это о том, как проигрываешь всё — до конца. В голову, в сознание, в самое подсознание — то, что въелось навечно. До последнего вздоха в ней живут: прикосновение его рук, хриловатый перепев губной гармошки и вечное, пронзительное «Por una Cabeza». Его нет. Он погиб. А музыка всё звучит. И те дни, когда он играл для неё, о ней, об их роковой, обречённой страсти — эта катастрофа длиною в жизнь, что началась с его ухода. Как ты мог так с ней поступить.

Её память вновь и вновь возвращается к тем мгновениям. И вот он возникает — рояль, его руки, сам он... Его нет, а в комнате всё дышит его присутствием, трепещет отсветами

памяти. Два года, как он ушёл, а всё это — живо.

— Нет, — она наконец подняла на него глаза. — Это про то, как снова делаешь ставку. Зная, что проиграешь.

И в его пальцах, сжимавших маленький корпус гармоники, она видела и шрамы, и линии, и эту вечную, отчаянную готовность — начать всё сначала.

И в тот день мелодия поселилась в её голове и в душе. Он просто сказал: «Наташа, я завтра с утра буду играть для тебя „Por una Cabeza“», — предупредил её Серёжа, словно готовя нечто грандиозное и незабываемое. «Позволишь?» — спросил он. Она выдержала паузу. «Отчего нет... Позволяю», — ответила она, не ведая ещё, что эта мелодия срастётся с ней навсегда.

В тот вечер на ней было чёрное платье — струящийся шёлк, облегающий каждый изгиб, линию. Чулки. Алая помада — как свежий порез. Он наблюдал, как она движется по комнате, и в его серых глазах стояло благоговение. Сам он походил на бога северных ветров — стройный, с рунами, вплавленными в кожу предплечий, будто древняя сага на живом теле. Его руки, красивые и уверенные, покоились на клавишах. Они ждали её.

За окном — октябрьская ночь, тёмная, сырая. А в комнате — лишь свечи да отсветы в её зелёных глазах. Когда он подошёл, пространство между ними рассыпалось. Прикосновение его пальцев к её шее стало продолжением мелодии — та же нежность, та же неотвратимость. Она притянула его, читая ладонями рельеф рун на тёплой коже, как читала его душу.

Их поцелуй был не началом, а кульминацией долгого, безмолвного диалога. Алый след её губ смешался со вкусом его кожи. Он снимал платье с медленной, почти музыкальной точностью — каждое движение было акцентом. Она целовала руны на его груди: сила, путь, возвращение. Его серые глаза, следившие за каждым её изгибом, темнели, становились бездонными, как ночное море.

Их тела находили друг друга без спешки, но с жадой. Это был не просто союз — воплощение. Воплощение той отчаянной готовности начать всё сначала. Он был музыкантом. Даже теперь его движения хранили гармонию — ритм, темп, крещендо. Она, его муза, отвечала каждым вздохом, каждым прикосновением рук к его спине. Открываясь. Растворяясь. Её зелёные глаза не закрывались; они впивались в его серые, и в этом взгляде жила вся их история — потеря и надежда, боль и обет.

Он осыпал поцелуями каждую частицу её существа — от макушки, залитой солнечным светом волос, до самых кончиков пальцев, трепетных и беззащитных. Она была его всепоглощающей страстью, единственной, нерушимой любовью, что затмила собою целый мир.

Губы. Он прикивал к ним, как к источнику живой воды, жадно, забыв о воздухе. Вкус её дыхания был единственной правдой на свете.

Лицо. Кончиками пальцев, а затем губами, он читал его, как священную карту. Виски, где стучит тонкая жизнь. Веки, трепещущие под его прикосновением. Он целовал закрытые глаза, желая раствориться в той тьме, куда она смотрела изнутри.

Глаза. Когда она открывала их, он тонул. Это был не взгляд, а бездна, в которую он мечтал сорваться. Он целовал уголки, солёные от счастья или сновидений.

Шея. Изгиб, арка, мост. Он следовал по нему губами, задерживаясь в ложбинке у ключицы, где бился её пульс — маленький, частый барабанчик, отбивающий ритм её существования. Здесь пахло солнцем и нежностью.

Грудь. Нежная прелюдия жизни. Он касался их с благо-

говением пилигрима, достигшего святыни. Сердце под ладонью, горячее и беззащитное, отдавалось ему стуком «вот я, вот я, я твоё».

Живот. Плавная, тихая гладь. Он целовал её, как целуют море на рассвете — с обещанием и трепетом. Кожа, тёплая шёлковая ткань, под которой таилось тихое пламя.

Лоно. Сокровенный алтарь. Здесь его поцелуи становились молитвой, молчаливым клятвоприношением. Он пил из этого источника жажду, превращая её в покой, в бездонное, всепоглощающее умиротворение.

Руки. Ладони, линии на которых он мечтал читать всю жизнь. Каждый палец, каждый сустав — отдельная история. Он целовал внутренние запястья, где синевой проступали реки её вен, чувствуя солоноватый вкус кожи и безграничное доверие.

Пальцы. Хрупкие, сильные. Он обвивал их губами, принимая каждый ноготь, каждую царапинку как драгоценность. В этих прикосновениях была не страсть, а невыразимая нежность, признание: «Я знаю тебя. Я узнаю тебя всегда».

Ноги. От щиколотки, тонкой, как стебель, до подъёма, ко-

лена, нежной подколенной впадины. Он шёл по этому пути, как по дороге домой. Ступни, уставшие от мира, он целовал с чувством, что снимает с неё всю тяжесть земли.

И в каждом прикосновении звучал внутренний диалог, сливавшийся в один непрерывный гимн: «Ты — моя география. Ты — мой континент. От тебя не осталось ни клочка, которого я бы не благословил. Я поклоняюсь не богине в тебе, а самой материи твоего бытия — этой коже, этому теплу, этому дыханию. В этом поцелуе — вся моя суть. Я растворяюсь. И только там, в этом растворении, нахожу себя настоящего».

Дрожь ладоней — как ток по ключицам,
В этой комнате выключен свет.
Нам сегодня не спится, не мнится,
Нас сегодня в реальности нет.
Твои пальцы в ознобе и силе
Впились в волосы, требуя дань.
Мы черту за собой переступили,
Перейдя сумасшествия грань.

Вкус солёный и древний, как море,
Я в служении этом исчез.
Слышен гул в каждом пульсе и взоре —
Приговор или дар от небес?
Там, где плоть превращается в звуки,

Где молитва — беззвучный порыв,
Я твои принимаю все муки,
Сердце в клочья у края разбив.

Стал я музыкой, стал я напевом,
Той симфонией, что не прервать.
За колючим твоим приговором
Я готов бесконечно бежать.
Я коснулся в беззвучной мольбе
Места силы, где рвётся струна.
Всё, что было во мне и в тебе,
Выпиваем сегодня до дна.

Больше нет ни имен, ни сомнений,
Только кожа и яростный зной.
В лабиринте твоих откровений
Я теряю навек свой покой.
Грань размыта, пространство остыло,
Мы — лишь эхо в полночной тиши.
Всё, что раньше казалось и было,
Растворилось в глубинах души.

Вкус солёный и древний, как море,
Я в служении этом исчез.
Слышен гул в каждом пульсе и взоре —
Приговор или дар от небес?

Там, где плоть превращается в звуки,
Где молитва — беззвучный порыв,
Я твои принимаю все муки,
Сердце в ключья у края разбив.

А потом — тишина. «Por una Cabeza» звучала лишь в памяти, в биении сердец. Он обвивал её рукой с татуировками, и она чувствовала: мелодия, обещанная на завтра, уже здесь. Уже срослась с ними. Октябрьская ночь осталась за стеклом, а в комнате трепетало присутствие — не его и не её, а их общее. Слияние. Воедино. Под знаком вечной, отчаянной ставки на любовь.

Он провёл пальцами по её плечу, следя за дрожью кожи.

— Ты всё ещё здесь, — прошептал он не в воздух, а прямо в душу. Голос с хрипотцой.

— Где же мне ещё быть? — её губы коснулись ключицы.
— Разве что в следующей ночи. И в той, что после.

— Они пройдут. А это — останется.

— Что «это»? — она приподнялась на локте, и свет свечи утонул в её зрачках.

— Не знаю. Музыка без нот. Тишина, в которой слышно

всё.

Она улыбнулась. Улыбка была мягче всего, что было до.

— Значит, мы её не играем. Мы ею дышим.

Он притянул её ближе. Руны на его предплечье легли ей на спину, как древняя печать.

— Я боюсь, — признался он внезапно. Чего не делал никогда.

— Чего?

— Что когда-нибудь проснусь, а этого — не будет.

Она положила ладонь ему на грудь, над сердцем.

— Тогда это будет не пробуждение. Это будет просто сон. Потому что настоящее — вот оно. Оно не уходит. Оно просто... меняет форму.

Он замолчал. Слушал стук двух сердец, сливающихся в один ритм.

— Завтра я сыграю для тебя, — сказал он.

— Ты уже играешь. С той самой ночи, когда мир перевернулся, переродившись в нашей первой ночи любви.

За окном шелестел дождь. В комнате было тепло. И тихо. Тише самой глубокой ноты. И громче всех симфоний мира.

Эта мелодия и этот человек живут в душе автора до конца её дней, до последнего вздоха — в память об удивительном человеке необычайной красоты, не только внешней, но и внутренней. О самом добром человеке на всём белом свете. «Золотые руки и пальцы»... По жестокой иронии судьбы то, что она так боготворила, так жестоко у неё и отняли. Прощения не будет — это не в характере той, что пишет эти строки. И вновь личное проступает сквозь художественный замысел, а всё потому, что никто и никогда больше не подарит ей этой музыки, этого взгляда: серые глаза, с такой любовью смотревшие на зелёные, — как обожал и боготворил он её, свою женщину, свою Музу, которую одновременно хотелось и уничтожить, и никому не отдать.

Вопрос: а что происходит с Музой, когда уходит он и когда она читает заключение экспертизы? «Предплечье, руки, пальцы» — в смысле, всё это отдельно. Как это возможно? Это же было для неё священо. Оставим её... В смысле, она справится. Или просто закрывает дверь в ту пустоту, которую

уже ничем и никогда не заполнить.

Не балуйте женщин вниманием, таким обожанием, любовью. Не стоит дарить им эту музыку, эти руки, эти объятия, стихи, улыбку одними глазами... Не стоит позволять чувствовать то, как ей смешно, — когда в этой радости прячется чужая, фальшивая боль. А я продолжу писать, где она — героиня, и где на страницах, конечно же, всё у неё сложится хорошо.

И эта сирень — та самая, белая — перетекала со страницы на страницу, из книги в книгу. Он так любил её, непременно белую. Она же не выносила её — этот траурный венок собственной жизни.

Все жаждут услышать правду. Где ты настоящая? Везде — это мои слова, они от меня. И нигде — я. Скорее — где он? Его много, но он сокрыт так тщательно. Их много, а истории их — длиною в двенадцать цельных, счастливых лет.

Жалость — оставьте при себе. Человеку даровано высочайшее из чувств — любовь. Здесь для жалости нет и не может быть места.

Белая сирень. Беззвучный музыкант.

Один аккорд на двоих — вечный комплимент.

Не отличить сирень от тишины в ночи,

И душу музыканта — от её души.

Одна суть на двоих, один финал и старт,

Где запах гроздьев белых — это спетая, слепая
партия.

И нет меж ними больше никакой границы,

Лишь вечность в переливах лунной вереницы.

Продолжу и скажу одно: берегите то, что есть в моменте, и никогда ни о чём не жалейте. Ибо момент — это щель в полотне Яви, сквозь которую подглядывают иные миры. Я знаю. Я видела.

Это было не во сне. Сон — слишком мягкая перина для таких встреч. Это случилось наяву, в состоянии бдения, на острой грани усталости и ясности, когда мысль замедляется, а чувство обостряется до боли. В тот миг между выдохом и вдохом, когда сердце замирает в пустоте, воздух в комнате сгустился, стал вязким, как лесная смола. И я поняла — я здесь не одна.

Они не являются в сиянии и громах. Они приходят тихо, как смена времени года. Первым явился Велес. Не борода-тый патриарх, не лик в обличье медведя или волка. Он — сама тягучая мощь плодородной глины, запах влажного под-земелья и зреющих во тьме корней. Он — ощущение, а не лик. Пахло от него не скотом, а глубиной, куда падает семя. И его голос прозвучал беззвучным гулом в костях: «Всё, что

ты прячешь во тьму — знание, страх, умершее зерно — всё это моё. И всё оно прорастёт. В свой час».

А за ним, из дрожания солнечного зайца на стене, соткалась Лада. Не улыбающаяся красавица, а сама сила сплетения. Тончайшие нити, тянущиеся от её невидимых пальцев, связывали в единый узел пылинку в луче света, биение моего сердца и далёкий смех ребёнка за окном. Она — не богиня любви. Она — ткачиха самой связи между живыми существами. Её присутствие жгло нежностью, от которой хотелось плакать, ибо ты вдруг ощущал, как невысказанно одинок был миг назад, не чувствуя этой всеобъемлющей паутины, что держит мир от распада.

Но самое главное видение пришло с холодком, подкравшимся к вискам. Это были не боги, а Богини. Рожаницы. Три тени у изголовья. Они не судили и не предрекали. Они просто пряли. Одна держала кудель прошлого — тусклую, запутанную, местами оборванную. Вторая — ровную, сияющую нить настоящего, что выходила из её пальцев прямо здесь, из этого дрожащего и бесценного мига. Третья же безмолвно держала в воздухе веретено, на которое нить ещё не намоталась. Будущее. Пустое. Ожидающее.

И в их беззвучном труде крылся весь ответ. Мы кричим о судьбе, молим о вечности, боимся конца. А они просто пря-

дут. Нить прошлого уже не изменить — она груба и узловата от наших старых сожалений. Нить будущего — лишь пустое веретено. Всё, что есть в нашей истинной власти, — та единственная точка, где тончайшая нить настоящего рождается между пальцами второй Сестрицы. Этот миг. Этот вдох. Этот взгляд. Вот и весь клубок.

Берегите то, что есть в моменте. Ибо этот миг — единственная сырая глина в руках Велеса, единственная живая нить в руках Лады, единственная реальность перед лицом пустого веретена Рожаниц.

И никогда ни о чём не жалеите. Сожаление — это попытка грубыми пальцами распустить уже сотканную и затвердевшую часть полотна. Это — кощунство перед пряжами. Прошрое не для пересмотра. Оно — для корней, что кормит Велес. Из его темноты и горечи тянется та самая нить, что рождается сейчас. Отвергнуть его — значит перерезать собственную жизнь.

Они ушли так же тихо, как и пришли. Осталось лишь чувство острой, почти непереносимой ценности обычного: стучка клавиш, тепла чашки в ладонях, вечерней тишины в доме. Это и есть сакральное. Не громовые раскаты, а тишина после них. Не лик, а присутствие. Не вечность, а миг, протянутый между тремя пряжами, который и есть вся твоя вещная, ося-

заемая вечность.

Больше я их не видела. Но знаю — они здесь. Велес — в глубине каждой памяти. Лада — в каждом вздохе общения. Рожаницы — в каждом щелчке часов. Они не требуют храмов. Их храм — природа, внимание, обращённое к текущему мгновению. В нём — вся древняя мистерия. В нём — спасение.

На грани безумия, у самого края обрыва,
Где танго вскипает, как чёрный и жгучий свинец,
Он ищет в металле остатки живого порыва,
Вплетая в гармонику горестный рокот сердец.
Мелькают копыта, несётся жокей оголтелый,
И финиша лента — как тонкий холодный клинок.
А память по телу проходит тропею омелой,
Вколачивая в подсознание смертельный урок.

Он видит распад и крушение бывшего кумира,
В руках пианиста — лишь медь и полночный туман.
Для него эта песня — финал обветшалога мира,
Проигранный в прах, фееричный и злой карнавал.
«Смотри, — он бросает сквозь выдох надрывный и резкий, —
Осталась лишь горечь и прах на остывших губах.
Мы — тени, застывшие в этой густой занавеске,
Мы — буквы, истлевшие в старых, забытых томах».

Но в твёрдых фалангах, привыкших к тяжёлому гнёту,
Она не читает ни скорбь, ни прощальный псалом.
Для неё это танго — прелюдия к новому взлёту,
Крещение страстью, омытой палящим огнём.
Она изучает рубцы, как великую карту,
Читает по линиям жажду — проснуться и сметь.
В её понимании нет места страху и аргу,
Там только азарт, побеждающий серую смерть.

«Por una Cabeza»... Короткая ставка «на скачках»,
Дистанция в выдох, в один сумасшедший рывок!
И пусть оборвётся над бездною загнанный голос,
И пусть растоптал вороной драгоценный цветок —
Она выбирает падение, как высшее благо,
Как право на риск, на безумие, на новую кровь,
Пока в этом ритме пульсирует хмель и отвага,
Пока сквозь металл пробивается грешная новь.

Сжимаются пальцы. Серебряный корпус гармошки
Становится центром вселенной в ладонях его.
Мы все в этой жизни — всего лишь азартные крошки,
Идущие в пламя, не требуя ничего.
И если за гибелью снова рождается вера,
И если в проигрыше скрыта живая искра —
Да будет венчальной и вечной великая мера

Того, что мы ставим на кон до хмельного утра.

Песня «Por una cabeza» (музыка Карлоса Гарделя, слова Альфреда Ле Пера, 1935) в переводе с испанского означает «Всего на голову» — то есть на длину головы лошади, отделяющую победителя от проигравшего на скачках. Или же — «Потерявший голову».

О чём же повествует танго — те самые слова, что даны нам, слушателям? О том, что скрыто за звуками, — читай между строк, вслушивайся в тишину между нотами и почувствуй кожей. Там двое танцуют своё танго любви, сплетённое из желаний и страсти, а над ними замирает весь мир и время.

Всего лишь из-за одной головы — из-за этого благородного жеребца, который у самой финишной черты замедляет бег и, возвращаясь, будто шепчет: не забывай, брат, ты же знаешь — в азарт играть нельзя...

Из-за одной головы, из-за минутного увлечения той кокетливой и улыбчивой женщиной, которая, клянясь и улыбаясь, любовью лживой сжигает дотла всё, что было во мне.

Из-за одной головы — все безумства. Её губы, целуя, стирают печаль, укрощают горечь.

Из-за одной головы. Если она забудет меня — что значит потерять себя, тысячу жизней разом... для чего тогда жить?

Сколько разочарований — и всё из-за одной головы! Я тысячу раз клялся — больше не поддамся. Но если её взгляд ранит меня, скользнув мимо, я снова жажду прильнуть к огню её губ.

Гонка окончена, ставка сыграна — к этому надрывному, последнему финишу я больше не вернусь. Но если вдруг в воскресенье какая-нибудь лошадка станет фаворитом... тогда я поставлю всё. До последнего гроша. Что же мне делать?

Из-за одной головы — все безумства. Её губы, целуя, стирают печаль, укрощают горечь.

Из-за одной головы. Если она забудет меня — что значит потерять себя, тысячу жизней разом... для чего тогда жить?

Она стояла в дверях, прислонившись к косяку, тень от её ресниц падала на скулу. В комнате пахло пылью, старыми книгами и остывшим кофе.

— Опять эта гармошка? — её голос был тихим, но резал тишину, как струна. — Вечно ты прячешь мелодию в карман, будто краденую драгоценность. Сыграй её на рояле. Всю. От

начала до конца.

Он не поднимал глаз, водил пальцами по клавишам, извлекая отдельные, несвязанные аккорды. На полированном чёрном боку инструмента лежала его губная гармошка — маленькая, потёртая, с посеребрёнными крышечками.

— На рояле она станет другой, — наконец сказал он. — Правильной. Размеренной. Как записанная партитура. А в гармошке... в ней остаётся дыхание. Сбивчивое. То самое, что между строчек твоих стихов. «Из-за одной головы — все безумства».

Она подошла ближе, и шелест её платья смешался со звуком педали, которую он плавно нажал. Она положила ладонь на крышку рояля, почувствовав лёгкую, почти живую вибрацию дерева.

— Ты ошибаешься. В стихах — точность. Каждое слово на своём месте, как клавиша. А эта твоя гармошка... она для импровизаций в пустых переулках. Для одиночества. Ты боишься, что если отдашь мелодию роялю, я услышу в ней не страсть, а... расчёт.

Он резко оборвал аккорд, и звук застыл в воздухе тревожным вопросом. Потом медленно взял в руки гармошку, при-

коснулся к ней губами. Из неё полилась нежная, чуть хрип-
лая тема — та самая, знакомая до боли, но на этот раз неуве-
ренная, обрывающаяся на самых высоких нотах, будто про-
сящая о помощи.

— Вот видишь, — прошептала она, и в её голосе впервые
появилась теплота. — Ты играешь её, и голос твой дрожит.
Ты вкладываешь в неё всё, что не решаешься сказать. В этом
твоя правда. Рояль так не солжёт никогда.

Он опустил гармошку.

— А ты? Ты возьмёшь эту правду и заключишь её в стро-
фы? Сделаешь красивой и... безопасной?

— Нет, — она покачала головой. — Я лишь расставлю
вокруг неё тишину. Чтобы было слышно каждую твою недо-
сказанность. Чтобы фраза «если она забудет меня» звучала
не как романс, а как приговор. Который ты сам себе выно-
сишь снова и снова, проигрывая на скачках одной только го-
ловы.

Он снова повернулся к роялю. На этот раз его пальцы на-
шли начало танго — чёткое, ритмичное, неумолимое. Ме-
лодия Гарделя зазвучала в полную силу, заполнила комнату,
ударил в стены. Это была не нежность гармошки, а вызов.

Страсть, поставленная на кон.

Она слушала, не двигаясь, и только губы её шептали что-то, ловя ритм. Потом подошла и села на край табурета рядом с ним, положив голову ему на плечо. Звуки рояля обволакивали их, становились физически осязаемыми.

— Вот теперь ты играешь, как будто проигрываешь последнее, — сказала она ему на ухо, едва слышно. — Так и пиши. Так и живи. Всё на кон. До самого финиша.

И когда музыка смолкла, в наступившей тишине осталось только их совместное дыхание — неровное, как та мелодия из губной гармошки, что всё ещё лежала на чёрном лакированном дереве, будто забытая, но уже изменившая всё одним только своим присутствием.

Гармошка хрипит, сохраняя обрывки тепла,
Мелодия краденым блеском на клавиши нежно ложится.
В ней трещина жизни, сбивчивый выдох и страх,
Стихи, что застыли невысказанным на устах.
Рояль не солжёт — он ударит, как плеть по спине,
Расскажет о выигранной в попытках святой тишине.
И голос её, словно выверенный приговор,
Закончит за нас этот долгий и тягостный спор.

Кончатся скачки. К фаворитам прикован мой взор.
Воскресное утро — мой новый негласный позор.
Я ставлю на лошадь, я ставлю на профиль во тьме,
Сгорая в своей добровольной и нежной тюрьме.
Всего на голову... Жизнь проиграть не боюсь.
В ритме танго я к самому краю прижмусь.
Пусть финиш обманет, пусть рухнет весь мир в никуда —
Я ставлю на губы, в которых сияет беда.

Он был её светом, он был её богом и тенью,
Касался рояля, вверяя сердца вдохновенью.
И губной гармошки серебряный, тонкий излом
Дрожал под его набегающим властным теплом.
Руками ловил он летящие звуки извне,
Апрельской симфонией пел на высокой струне,
Но в небе раскрылись бездонные окна для птиц —
И мастер ушёл, не догнал он последних страниц.

Осталась весна, только выцвели краски и лица,
И муза застыла, не в силах в пространстве забыться.
Ей страшно дышать, когда руки его не звучат,
И стены, как судьи, сурово и тяжело молчат.
Богиня из света, покинутый скорбный ковчег,
В холодном апреле свой медленный празднует бег.
Гармошка хрипит, и рояль замерзает во льду,
Пока она ищет его в одиноком саду.

Но в ритме того, что когда-то звалось их судьбой,
Она продолжает со смертью изысканный бой.
Пусть звук обрывается, память ломая хребет,
И губы хранят роковой и прощальный завет.
Она — его отзвук, она — его вечная боль,
Играет свою одинокую, странную роль.
И в пепле надежд, где сияет былая беда,
Горит его рук неземная, живая звезда.

Два года

Она научилась различать оттенки тишины. Есть тишина пустой квартиры — плоская, безэховая, словно вата в ушах. Есть тишина улицы за окном, густая и насыщенная отголосками далёких, чужих жизней. А есть та тишина, из которой он является. Она не предваряется ни скрипом половицы, ни шелестом занавески. Она просто расступается.

И тогда звучит её имя.

Негромко. Не так, как при жизни — с той особой, тёплой интонацией, которую он берёт только для неё, растягивая первый слог и мягко обрывая последний. Нет. Этот голос — точная копия, но лишённая тембра. Он звучит где-то в области затылка или прямо в центре черепа, как мысль, которую ты не думал. Он не пугает. Не с первого раза, во всяком случае. Первые месяцы она оборачивалась, сердце захлёстывала дикая, безумная надежда. Теперь она просто замирает.

Это случается в разное время. Заваривая утренний кофе, она слышит своё имя, произнесённое чуть сонно, как бывало, когда он будил её в выходной. И рука сама тянется ко второй чашке на полке — синей, в мелкую крапинку, его чашке. Она стоит на месте уже два года. Вечером, когда она пыта-

ется читать, голос звучит чётче, будто он зовёт её из соседней комнаты, отвлекая от книги. Она даже научилась угадывать едва уловимые ноты в этом фантоме: сегодня в нём была тень укора (может, она слишком поздно вернулась с работы?), завтра — призрак ласки (солнечный зайчик на стене напомнил им обоим о чём-то смешном).

Иногда это просто шёпот, затерявшийся в шуме дождя по желобу. Иногда — ясное, почти осязаемое слово, врезающееся в паузу между гудками в телефонной трубке. Она перестала говорить об этом врачу. Тот осторожно предлагал «адаптацию к утрате» и мягкие седативные. Но она не хочет адаптации. Этот голос — последняя нить, и она вцепилась в неё всеми силами своей души, измотанной, но не сломленной.

Бывают плохие дни. Дни, когда голос не звучит вовсе. Тогда тишина становится враждебной, пустой до звона. Она начинает метаться по квартире, прислушиваясь к скрипу старых труб, к гулу холодильника, выискивая в бытовых шумах намёк на него. И молчание в такие дни кажется громче любого зова. Оно похоже на забвение. А забыть — значит предать. Значит признать, что его действительно нет.

А бывают ночи, слишком реальные. Она просыпается от того, что имя прозвучало не внутри, а сбоку, будто кто-то

склонился над изголовьем. И тогда по спине пробегает холодная испарина — не от страха перед призраком, а от жуткой ясности: это только её разум, её тоска, вылепленная из воздуха и памяти, играет с ней в жестокую игру. В такие моменты она ненавидит этот голос. Ненавидит себя за то, что цепляется за эхо. Но утро приносит новый день, а с ним — тихий, далёкий зов из кухни, когда она достаёт хлеб. И ненависть тает, уступая место горькому, привычному утешению.

Она живёт в двойном бытии. В одном — она взрослая женщина, которая ходит на работу, платит по счетам, говорит с соседями. В другом — она вечно ожидающая, вечно прислушивающаяся тень в лабиринте собственного дома. Его голос стал частью пейзажа её одиночества, как пыль на его бюро или тень от их совместной фотографии на стене. Не враг и не утешитель. Просто факт. Как шрам, который не болит, но который чувствуешь кончиками пальцев каждый день.

И когда в особенно ясный полдень солнце заливает гостиную, а голос произносит её имя почти с былой теплотой, она закрывает глаза. Всего на секунду. Она позволяет себе поверить, что это не фантом. Что это — прощальный подарок, последний отголосок души, задержавшийся в воздухе, который они вдыхали вместе. И тогда она тихо, чтобы не спугнуть, отвечает в пустоту: «Я здесь, милый. Я всё ещё здесь».

И ждёт, пока тишина, нежная теперь и бездонная, снова не поглотит её.

— Наташа...

— Серёжа?

— Наташа...

— Серёжкин, ты где? Я не слышу...

— Наташа, я здесь.

— Это лишь ветер. Или память. Ты всегда тянул моё имя, теперь оно осталось в воздухе, пустое, без твоих рук.

— Наташа...

— Ты называл меня по имени тысячу раз на день. Серёжа... Я всегда выжидала, чтобы сказать это. Почему? Не знаю. Теперь говорю в пустоту: «Серёжа». Но ты не ответишь.

— Наталья Александровна.

— Сергей Викторович... Мы снова спорим? Но вас нет

здесь. И спора нет. Есть только порядок в доме, ваш план. Я его соблюдаю. Как зритель. Белая ворона в мире, который потерял цвет.

— Двенадцать лет, пять месяцев, семь дней, тридцать четыре минуты. Я всё посчитала. Скоро два года. Вы всё ещё здесь, в этом «Наташа», которое звучит в тишине. Фантом голоса. Его муза? Но муза без художника — просто тень.

— Что ты ждал от меня, Серёжа? Что я ждала от тебя? Мы ждали чего-то, что не случилось. А теперь я жду только одного — чтобы это «Наташа» в воздухе хоть раз стало реальным. Но оно лишь эхо. Эхо твоего «Наташа», которое теперь моё единственное правило в мире, где мне близка лишь импровизация. А его больше нет.

В квартире тишина — как мёртвый слой слюды,
Ни вздоха, ни шагов, ни в зеркале движения.
Но в этой пустоте глубокие следы
Печатают твоё живое отраженье.
Различие теней, оттенки немоты —
Я выучила их, как древнюю науку.
Там, где кончаюсь я, вновь вступаешь ты,
Протягивая мне невидимую руку.

Звучит моё письмо, застывшее в гортани,

Твой голос без лица, без тёплого мазка.
Он где-то в волокнах, на самой тонкой грани,
Где мыслит не душа, а пульс и седина.
Ты шепчешь мне: «Наташа», — и мир идёт на слом,
И синяя в горошек чашка греет пальцы.
Мы делим этот стол, мы делим этот дом,
Две вечности в кольце, два грустных созерцателя.

Ты здесь? Или мой мозг, измученный тоской,
Из праха и молитв лепит твою фигуру?
Струится голос твой по коже ледяной,
Сквозь бытовую пыль и стен архитектуру.
А если ты молчишь — то тишина страшней,
Она как смертный грех, как горькое преданье.
Я становлюсь тогда безумней и бедней,
Вскрывая пустоту прерывистым дыханьем.

Ты гладишь мои плечи и правишь одеяло,
Вторгаясь в липкий сон заботливой рукой.
Как мало я жила... и как же я устала
Искать в небытии потерянный покой.
Учиться жить «потом» — какая в этом ложь?
Как будто можно плыть, когда отняли море.
Ты с именем моим по комнате идёшь,
И я тону в твоём прозрачном коридоре.

Мне нужно отпустить. Разжать ладони. Смыть.
Забыть, как ты тянул чуть сонно первый слог.
Но эта хрупкая, вибрирующая нить —
Последний мой причал и сокровенный бог.
Пускай ты только эхо, фантомная струна,
Мираж среди молитв, застрявших на пороге —
Я здесь. Я всё ещё жива. Я выпью всё до дна,
Пока моё «Серёжа» не стихнет на дороге жизни.

Он живёт на страницах всех моих книг — от самой первой до этой. Два года. Я осознаю это всем нутром. Знаю. Ничего не вернуть — его не вернуть. Все чувства, что дарил этот человек, больше никогда не повторятся. Но с этим можно справиться. От воспоминаний — отлепиться. Вещи, его подарки и письма, можно упрятать в шкаф, в глухую темень шкатулок — дело нехитрое.

Но наступает ночь. Она долго засиживается за чтением или, наоборот, писанием. Принимает душ, ложится в постель. И только когда сознание отпускает края реальности и погружается в предсонную муть, он является. В том самом красивом чёрном полувере — она дарила ему такой, из тончайшего кашемира, тщательно выбирала. На его теле ещё нет татуировок, лицо лучезарное, он улыбается. И говорит: «Наташа, добрых снов». Как научиться забывать его даже во снах? Никак. Нет ответа. Нет выхода.

В этом сне покойный муж, Серёжа, разговаривает с ней. Он музыкант, играл на рояле и губной гармошке. И звучит их мелодия — «Pog una cabeza». Как будто других и не было — было много, но уцелела лишь эта. Чувство такое: он ушёл, а она попала в чёртово колесо. Где искать выход?

Сонный диалог, сотканный из тишины и лунного света:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.